

Оригинальная статья / Original Article

DOI: 10.31857/S1605788024020018

О диалогичности жанровой природы замысла «Выбранных мест из переписки с друзьями»: заметки на полях книги Ю. В. Манна «В поисках живой души...»

© 2024 г. Е. Г. Падерина

Доктор филологических наук,
ведущий научный сотрудник
Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН,
Россия, 121069, Москва, ул. Поварская, д. 25а
kbogan@yandex.ru

Резюме. Проблема жанровой природы «Выбранных мест из переписки с друзьями» — одна из давних, серьезнейших и до сих пор насущных проблем изучения последней книги Гоголя. С ней столкнулись уже первые читатели и критики в 1847 г., и с тех же пор интерес к жанру книги сопровождается особым вниманием к ее творческой истории. Общеизвестно при этом, что книга родилась в процессе работы Гоголя над вторым томом «Мертвых душ» и что в этот процесс Гоголь вовлек широкий круг близких и далеких читателей. Известно это из вышедшей в 1984 г. книги Ю.В. Манна «В поисках живой души: “Мертвые души”». Писатель — критика — читатель», где многолетний диалог «сочинителя» поэмы с читателем представлен фактическими и документальными подробностями, и в этом контексте ученым сделаны важные для понимания жанровых истоков замысла «Выбранных мест...» наблюдения. За прошедшие с того времени сорок лет существенно пополнился научный арсенал изучения гоголевской книги, и теперь мы можем по достоинству оценить и развить научный ресурс наблюдений Манна о диалогических истоках ее замысла.

Ключевые слова: Гоголь, «Выбранные места из переписки с друзьями», эпистолярный диалог, адресация публичной и приватной речи, личные письма и литература, речевые жанры, замысел.

Для цитирования: Падерина Е.Г. О диалогичности жанровой природы замысла «Выбранных мест из переписки с друзьями»: заметки на полях книги Ю.В. Манна «В поисках живой души...» // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2024. Т. 83. № 2. С. 5–21. DOI: 10.31857/S1605788024020018

On the Dialogism of Genre Nature of the Concept of “Selected Passages from Correspondence with Friends”: Notes on the Margins of the Book by Iu. V. Mann “In Search of a Living Soul...”

© 2024 Ekaterina G. Paderina

Doct. Sci. (Philol.),
Leading Researcher at the A.M. Gorky Institute of World Literature
of the Russian Academy of Sciences,
25a Povarskaya Str., Moscow, 121069, Russia
kbogan@yandex.ru

Abstract. The issue of the genre nature of “Selected passages from correspondence with friends” is one of the oldest, most significant and yet actual problems of studying Gogol’s latest book. The first readers and critics faced this problem in 1847. Since then, interest in the genre of the book has been followed by special attention to its creative history. At the same time, it is well known that the book was created during Gogol’s

work on the second volume of “Dead Souls” and that Gogol involved a wide range of close and distant readers in this process. This was discussed by Yu.V. Mann in his book “In search of a living soul: ‘Dead Souls’. Writer – criticism – reader” (published in 1984), where the long-lasting writer-reader dialogue is presented with factual and documentary details. In this context, Yu.V. Mann made observations, that are important for understanding the genre origins of the concept of “Selected passages ...”. Over the 40 years since that, the scholarly stockpile of studying Gogol’s work has been significantly expanded, and now we can appreciate and develop the scholarly resource of Mann’s observations about the dialogical origins of its idea.

Key words: Gogol, “Selected passages from correspondence with friends”, epistolary dialogue, addressing public and private speech, personal letters and literature, verbal genres, concept.

For citation: Paderina, E.G. *O dialogichnosti zhanrovoi prirody zamysla “Vybrannykh mest iz perepiski s druz'yami”: Zametki na polyakh knigi Yu.V. Manna “V poiskakh zhivoi dushi...”* [On the Dialogism of Genre Nature of the Concept of “Selected Passages from Correspondence with Friends”: Notes on the Margins of the Book by Yu.V. Mann “In Search of a Living Soul...”]. *Izvestiâ Rossijskoj akademii nauk. Seriâ literatury i âzyka* [Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language]. 2024, Vol. 83, No. 2, pp. 5–21. (In Russ.) DOI: 10.31857/S1605788024020018

Книга Юрия Владимировича Манна «В поисках живой души: “Мертвые души”. Писатель — критика — читатель» вышла в 1984 г., и представленная в ней концепция давно и прочно вошла в научный оборот и в «школьное» знание. Однако далеко не все наблюдения и суждения автора получили в гоголеведении должное внимание. В частности — относящиеся к «Выбранным местам...», а именно к проблеме жанровой формы книги — одной из давних, серьезнейших и до сих пор насущных. С ней столкнулись уже первые читатели и критики в 1847 г. При этом многосторонний взгляд Гоголя — писателя, гражданина и христианина — на судьбы России, на современное состояние мира и человека, на искусство, литературу и писательскую миссию и мн. др. получил столь своеобразное выражение, что и последние 30 лет активного научного интереса именно к жанровому своеобразию «Выбранных мест...» оказались недостаточным сроком для формирования устойчивой научной концепции. В числе прочего — неоднократно возобновлялся разговор о сложности, актуальности и к тому моменту нерешенности проблемы полноценного жанрового определения гоголевской книги. Каждый раз отправной точкой становилось привлечение внимания к новому и/или недостаточно исследованному важному научному аспекту этой проблематики. Такого рода обобщающими утверждениями и более или менее подробными обзорами научных мнений о жанре книги открываются статьи и монографические работы последнего десятилетия XX в. (В.А. Воропаев, Ю.Я. Барабаш, С.А. Гончаров, П.В. Михед, Л.В. Жаравина, М.А. Янушкевич, В. Томачинский) и первого десятилетия XXI в. (В.М. Маркович, А.С. Янушкевич, Е.В. Сартаков и др.). Пройденный путь и накопленный в русле этой тенденции опыт изучения жанра «Выбранных мест...» открывает

неисчерпанный научный ресурс наблюдений и концептуальных суждений Манна о жанровом генезисе книги, сделанных в 1984 г., когда эта научная проблематика только начала выходить из-под запрета официальной идеологии.

* * *

Подробно описанная многолетняя творческая история «Мертвых душ» начинается в книге Манна с зарождения первоначального замысла в 1835 г. и заканчивается, по сути, с уходом писателя из жизни, а с «Выбранными местами...» связан только один этап этой истории. Такая диспозиция соответствует биографическим данным, гоголевским признаниям и его особой заботе о том, чтобы «Переписка с друзьями» вышла из печати непременно раньше, чем появится в продаже второе издание первого тома «Мертвых душ»¹, и предварила появление готовящегося второго тома. Укорененность замысла «Выбранных мест...» в творческом процессе создания поэмы традиционно (в научном описании со времен Н.С. Тихонравова [1, с. 472–473]) отмечалась и отмечается в гоголеведении, в том числе в трудах, посвященных непосредственно последней книге Гоголя².

¹ В письме от 5 октября 1846 г. к С.П. Шевыреву, занимающемуся переизданием поэмы, Гоголь настоятельно просил соблюсти это важное для него условие.

² См., например: «...в течение многих последних лет Гоголя по существу не занимало ничего, кроме “Мертвых душ”, и он всегда очень сердился, когда слышал традиционный вопрос о чем-нибудь “новеньком”»; нигде, ни в одном письме нет и намек на какую-либо работу, — всерьез отвлекающую от “Мертвых душ”, если не считать “Выбранных мест...”, которые Гоголь рассматривал как своего рода промежуточный этап в подготовке второго тома грандиозной своей поэмы, да еще небольшой по объему “Развязки «Ревизора»” с “Дополнением” к ней» [2, с. 54].

В описании Манном творческой истории «Мертвых душ» особая роль отведена, как известно, «читателю» и общению с ним автора. По сути, исследователь с хроникальной подробностью и с опорой на факты и документы описал процесс творческого взаимодействия автора поэмы с читателями (слушателями), чей круг все более и более расширялся, так что в октябре 1846 г. Гоголь в известном предисловии к первому тому поэмы во втором издании («К читателю от сочинителя») обратился уже ко всей читающей России с просьбой включиться в создание второго тома. Теперь это относится к общеизвестному знанию, и всем очевидно, что такой ракурс обусловлен биографическими данными, изучение которых и позволило Юрию Владимировичу утверждать уже в начале своей книги: «...само русское общество, так сказать, постоянно вживалось и углублялось в гоголевский замысел, и с каждым этапом писательского труда, с каждым шагом вперед (становившимся известным более или менее широкому кругу слушателей и читателей) открывались все более далекие и значительные горизонты. Больше того — оба явления оказались взаимосвязанными. Чем шире раздвигался горизонт поэмы в сознании читающего мира, чем больше людей втягивал в себя этот процесс, тем интенсивнее становились те импульсы, которые получал Гоголь для продолжения своего труда» [3, с. 23]. И когда исследователь оговорил в 1984 г. важное на тот момент условие включения в это повествование разговора о «Переписке с друзьями...» (что остановится «только на тех аспектах, которые важны для понимания судьбы “Мертвых душ”» [3, с. 237]), то имел в виду ограничение ожиданий своих читателей относительно одиозной и признанной советским гоголеведением реакционной книги Гоголя. А сейчас, по прошествии нескольких десятилетий изучения последней книги Гоголя, включая историко-биографический подход, именно эти аспекты приобретают особое значение: замысел и рождение «Переписки с друзьями» предстает не только этапом творческой биографии автора «Мертвых душ», но и сегментом обозначенного Манном в приведенной выше цитате процесса творческого взаимодействия «сочинителя» с «читателем», т.е. замысел книги возник именно в этом диалоговом поле.

Между тем общая гоголеведческая традиция реконструкции творческой истории «Выбранных мест...» в этом пункте поворачивает в иную сторону: факт зарождения замысла во время работы над вторым томом поэмы признается важным, но творческий импульс и жанровые ориентиры будущей книги рассматриваются исследователями

и комментаторами преимущественно в контексте духовно-религиозных исканий писателя, его глубокого погружения в практику и проблематику христианского служения и соответствующего осмысления своего поприща писателя, в контексте «становления самосознающей души», как много позже гоголевской эпохи сформулировал качественную характеристику личностного развития А. Белый. И побуждающим к изданию Гоголем своих писем импульсом всегда признавалась и признается (с разными, в том числе противоположными, оценками) возросшая потребность Гоголя в поучении окружающих, в наставлениях и пр. Традиция эта укоренена в восприятии книги первыми ее читателями и критиками, среди разнообразных мнений которых наиболее часто встречается жанровое определение — проповедь, и вышла на уровень научной концепции в комментарии Н.С. Тихонравова к книге [1, с. 466] и В.И. Шенрока к биографическим данным [4, с. 7]. Именно из сочетания собственного душевного и духовного опыта и потребности поучать (экстраполировать свое знание «правды» и «истины» жизни вовне в качестве закона для всех), т.е. проповеднического пафоса, и выводится по традиции (в современном гоголеведении в том числе) выбор Гоголем жанровой формы своей книги. В этом же ключе рассматриваются и реальные письма Гоголя, предшествующие ее подготовке.

То, что относится к темам, мотивам, проблематике и т.д., словом — к гоголевской телеологии, представленной в «Выбранных местах...», в целом так же трактуется и Манном. А вот истоки жанровой ориентации замысла — иначе. Поступательное движение по хронологически выстроенным биографическим подробностям гоголевской работы над «ближним сердцу» (по его выражению) художественным замыслом поэмы в параллели с творческой рецепцией Гоголем читательских мнений и суждений о промежуточных результатах этой работы подвело Юрия Владимировича к чрезвычайно интересному наблюдению над одним эпистолярным мотивом 1844 г., который напрямую связан, по его концепции, с идеей жанровой формы будущей «Переписки с друзьями».

Разговор об этом в книге Манна начинается с цитирования двух писем писателя конца декабря 1844 г., в которых говорится о том, как важно в словесном общении осознавать, к кому конкретно ты обращаешь свое слово. «Еще в декабре 1844 года, — читаем у Манна, — Гоголь писал о необходимости для автора видеть перед собой конкретного адресата: “Ради бога, перед тем как будете писать кому-либо с тем, чтобы подействовать

и убедить, представьте себе мысленно его всего» (XII, 443). Константину Аксакову Гоголь советует «вообразить себе живо личность тех, кому и для кого он пишет. Он пишет к публике, личность публики себе трудно представить, пусть же он на место публики посадит кого-нибудь из своих знакомых...» Гоголь сожалеет, что сам не применял «этот способ»: «Я бы гораздо больше сделал дела...» (XII, 407, 408)» [3, с. 238]. Особая наблюдательность ученого при чтении общеизвестных, надо сказать, гоголевских писем привела его к очень точному выводу о речевой стратегии Гоголя, относящейся к жанровой специфике последней книги: ««Выбранные места...» — *есть реализация описанного способа. Абстрактное понятие «публики» здесь последовательно дифференцировано на ряд конкретных личностей (воображаемых или реальных — неважно), чьи наклонности и свойства автору хорошо известны»* [3, с. 239; выделено автором. — *Е.П.*].

По сути, Юрий Владимирович указал на *диалогичность* авторской программы в замысле будущей книги, программы — зародившейся в этот «момент», т.е. на рубеже 1844–1845 гг., когда Гоголь нащупал опорную точку своего высказывания о проблемах современности, адресованного в каждом своем предметно-тематическом и стилевом сегменте — к конкретному адресату, но предъявленного всем.

Именно к этому наблюдению ученого, на вид простому, понятному и органично вытекающему из специфической истории создания «Мертвых душ», но порождающему разные вопросы к устойчивым представлениям о «Выбранных местах...», и относятся наши маргиналии.

* * *

Прежде всего нуждается в конкретизации тот самый «способ», реализованный Гоголем. Здесь важен эпистолярный контекст (и протяженный, и локализованный в одном письме) процитированных Манном советов А.О. Смирновой и К.С. Аксакову. И особенно важно подчеркнуть при извлечении предмета обсуждения из научного повествования Манна и тем самым из контекста общения «сочинителя» с «читателем», что оба совета были порождены собственным опытом Гоголя — человека и писателя — в формировании диалога с близкими (друзьями) и далекими (читателями) современниками.

Первым (по хронологии) был дан совет Константину Аксакову, это было сделано не прямо, а в письме к Сергею Тимофеевичу от 22 декабря 1844 г. и по конкретному поводу — в ответ

на сообщение последнего, что «Костя переписывает набело свою диссертацию» [5, с. 137] — «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка». Подчеркнув (совсем не в первый раз) аналитические и филологические способности Константина, Гоголь посоветовал — прежде всего, не спешить, отложить работу на время, а позднее взглянуть на нее отстраненно, чтобы увидеть и скорректировать как поспешные суждения, так и способ изъяснения мысли, добываясь большей ясности. И процитированный Манном совет следует в гоголевском письме сразу после оценки стиля письменной (публичной — прежде всего) речи Константина, не удерживающей, по Гоголю, живой энергии и ясности умопостроений, собственных его устной речи: «Все, о чем ни выражается он ясно на словах, выходит у него темно, когда напишет на бумаге. Если бы он был в силах схватить тот склад речи, который выражается у него в разговоре, он был бы жив и силен в письме, стало быть имел бы непременно читателей и почитателей» [6, т. 12, с. 407]. Именно способ преодоления *этой* проблемы — проблемы адекватной формы выражения мысли в публичном письменном высказывании — и предложил Гоголь. И немаловажны подробности совета, опущенные Манном в цитате: «...пусть же он на место публики посадит кого-нибудь из своих знакомых, *живо представит себе его ум, способности, степень понятливости и развития и говорит, соображаясь со всем этим и снисходя к нему*, — слово его непременно будет яснее» [6, т. 12, с. 407; курсив наш. — *Е.П.*]; и лучше всего, добавил Гоголь, было бы попробовать рассказывать «маленькой сестрице» [6, т. 12, с. 408].

В предыстории этого совета — двойная связь с изданным первым томом «Мертвых душ» и ряд подобных этому совету предостережений. Гоголь опирался на очень близкий во времени и сходный у них обоих опыт столкновения автора высказывания (художественного и критического) с непониманием и неприятием его читателями: поэма по выходе в 1842 г. «озадачила» (выражение старшего Аксакова) практически всех читателей и вызвала полярные оценки — от восторгов до полного неприятия, и подобной же была реакция читателей и рецензентов на вышедшую летом того же 1842 г. брошюру Константина Аксакова о поэме. Но сам Гоголь, для которого это был далеко не первый, как известно, опыт встречи с «озадаченностью» и негативизмом большей части читателей, уже выработал трезвое, по возможности, отношение к этому и равно признавал как существенную долю непонимания в неумеренных похвалах, так одновременно и свою долю правоты

и правомерности в упреках враждебной критики. Так именно, исходя из своего опыта, в 1842 г. он воспринял и сообщение старшего Аксакова (в письме от 8 июля 1842 г. из Гаврилково) о написанной Константином восторженной рецензии на поэму и об отказе М.П. Погодина поместить её в «Москвитяине». Еще не зная о выходе в июне того года статьи младшего Аксакова отдельной брошюрой, Гоголь попытался предостеречь его, указав на объективные факторы возможного неприятия публикой мнения еще не авторитетного (поспешившего поперек батьки в пекло, условно говоря) молодого критика³. А в конце ноября того же года, отвечая на письмо Константина о поэме и ее критиках, попытался указать ему на ощутимую разницу между убедительностью его устной формы изложения даже не вполне глубоко продуманных мыслей («сопровожаемых жаром и пылом юности») и их «вялостью» «на бумаге» [6, т. 12, с. 126]⁴. Затем, прочитав статью и ответ ее автора на критику Белинского⁵, Гоголь 18 марта н. ст. 1843 г. писал о том же, по сути, старшему Аксакову, естественным образом включив рассуждение о брошюре в разговор о реакции критики на его собственные сочинения («Браня, все-таки можно сказать правду и отыскать недостатки; а у тех, которые восхищаются, невольно поселается пристрастие и невольно заслоняет недостатки» и т.п. [6, т. 12, с. 151–152]) и добавив при этом еще один важный нюанс в описание все той же проблемы публичного высказывания: «Константину Сергеевичу скажите, что я и не думал сердиться на него за брошюрку; напротив, в основном своем она замечательная вещь. Но разница страшная между диалектикою и письменным

созданием, горе тому, кто объявляет какую-нибудь замечательную мысль, если эта мысль еще ребенок, не вызрела и не получила образа, *видного всем*, где бы всякое слово можно почти щупать пальцем. И вообще, *чем глубже мысль, тем она может быть девственной самой мелкой мысли*» [6, т. 12, с. 151; курсив наш. — Е.П.]⁶.

То, что совет исходил из собственного опыта (включая анализ объективных и субъективных факторов, препятствующих диалогу с читателем и, напротив, способствующих ему), Гоголь сам подчеркнул в декабрьском письме 1844 г. Аксакову: «Живой пример ему я. Я старше годами, умею более себя обуздывать, а при всем том сколько я натворил глупостей в моих сочинениях, именно стремясь к той полноте, которой во мне самом еще не было, хотя мне и казалось, что я очень уже созрел; и над многими местами в моих сочинениях, которые даже были похвалены одними, другие очень справедливо посмеялись. Там есть очень много того, что похоже на короткую ногу в большом сапоге; а всего смешней в них претензии на то, чего в них, покамест, нет. <...> Это (предостережение. — Е.П.) не совет, а скорее братское увещание человека, уже искусившегося и который хотел бы сколько-нибудь помочь своею собственною бедою, обратив ее не в беду, а в пользу другому» [6, т. 12, с. 405–406]. И для понимания генезиса «Выбранных мест...» важно особо отметить в процитированных выше гоголевских суждениях — заботу о том, чтобы сделать «видной всем» глубокую мысль, и констатацию того, что чем более мысль глубока, тем сложнее задача дать ей понятную всем форму выражения, и того, что автор в большей степени несет ответственность за непонимание читателями публично высказанной мысли, чем читатель (во всяком случае до тех пор, пока последний не становится сам автором публичного высказывания). Причем то, что относится к выражению глубокой мысли, в актуальных для 1842–1843 гг. заботах Гоголя-автора

³ Ср. в письме к С.Т. Аксакову от 18 августа н. ст. 1842 г.: «Вы говорите, что молодое поколение лучше и скорее поймет. Но горе, если бы не было стариков. У молодого слишком много любви к тому, что восхитило его; а где жаркая и сильная любовь, там уже невольное пристрастие» [6, т. 12, с. 92]. И еще: «Молодой человек может встретить слишком сильную оппозицию в старых. Уже вопрос: почему многие не могут понять “Мертвых душ” с первого раза, оскорбит многих. Мой совет напечатать ее зимою, после двух или трех других критик. Недурно также рассмотреть, не слышится ли явно: *я первый понял*. Этого слова не любят, и вообще лучше, чтобы не слышалось большого преимущества на стороне прежде понимающих. Люди не понимают, что в этом нет никакого греха, что это может случиться с самым глубоко образованным человеком, как случается всякому, в минуты хлопот и мыслей о другом, прослушать замечательное слово» [6, т. 12, с. 93].

⁴ Эту разницу отмечают и исследователи литературно-публицистического наследия славянофилов, а Иван Сергеевич считал это врожденным качеством старшего брата (см. об этом: [7, с. 93]).

⁵ О дискуссии в печати по поводу рецензии К. Аксакова на поэму см.: [3, с. 176–195]; [8, с. 597–599].

⁶ Примечательно, что Сергей Тимофеевич прочитал гоголевские объяснения по поводу стиля рецензии совершенно по-другому — не как заботу о Константине Сергеевиче, а как заботу Гоголя о себе — авторе поэмы: «Гоголь также остался недоволен появлением брошюры Константина, осуждая не столько ее смысл, как то, что она появилась не вовремя, в минуту общего недоумения, поражения, так сказать, произведенного “Мертвыми душами”, когда большинство публики, оскорбленное, раздраженное восторгами поклонников Гоголя, не знало, что делать: хвалить или бранить? Первого не хотелось делать, на второе не смели вдруг решиться. Брошюра Константина как будто развязала им язык, и скрываемая многими злоба на Гоголя излилась сначала на сочинителя брошюры, а потом и на творца поэмы» [5, с. 78–79].

связывалось с художественным высказыванием, а в его прежнем опыте раскритикованного автора был и более близкий ситуации Константина прецедент — со статьями «Арабесок», которые не только Сенковским, но и Белинским были признаны неудовлетворительными.

Иная подоплека и иная направленность у совета, данного Гоголем Смирновой в письме к ней от 28 декабря 1844 г. Здесь Гоголь обсуждает проблему частной переписки и пишет не о форме, а о содержании высказывания, причем — частного и, следовательно, обращенного к конкретному адресату (в рамках устного или эпистолярного общения). Проблема, по Гоголю, возникает тогда, когда адресация формальна, а на поверку высказывание — ни к кому не обращено, поскольку индивидуальный характер, опыт и проч. личные особенности адресата вовсе не взяты в расчет. Поводом к совету сообразовываться с личностью адресата стала попытка Смирновой убедить Гоголя отказаться от намерения учредить на деньги, вырученные от продажи его сочинений, фонд поддержки нуждающихся талантливых студентов Петербургского и Московского университетов. Гоголь по этому поводу в начале декабря обратился к П.А. Плетневу [6, т. 12, с. 389–391], который, в свою очередь, обратился за советом к Смирновой. Об этом 18 декабря 1844 г. Смирнова и написала Гоголю, изложив общее с Плетневым негативное отношение к такой идее в довольно жесткой, надо сказать, форме⁷, вдобавок упрекнув его в гордыне (см. об этом: [10, с. 423]) и объяснив, — как *надо* поступить с вырученными от продажи издания деньгами, памятуя прежде всего о долге перед матерью и сестрами и о собственном безденежье.

Словом, в процитированном Манном гоголевском письме перед нами не совсем совет. Это скорее ответ на назидание⁸, ответ — в вежливой форме совета учитывать его (Гоголя) опыт, характер и конкретные обстоятельства.

Немаловажен и в этом случае речевой контекст цитаты: «Я ставил на место себя опрометчивого и горячего юношу, способного на то донкишотство,

⁷ Ср., например: «С вашими планами для студентов вы мне напомнили одного фурьериста, который свой капитал растратил для общественного блага, а потом сам с женой и детьми умирал с голоду» [9, с. 143–144].

⁸ Ср. первую эмоциональную реакцию Гоголя на это назидание в начале ответного письма: «...вы взяли даже на себя отвагу перерешить все дело, объявить мне, что я делаю глупость, что делу следует быть вот как и что вы, не спрашивая даже согласия моего, даете ему другой оборот и приступаете по этому поводу к нужным распоряжениям» [6, т. 12, с. 427].

которое вы приписываете мне, и рассматривал эти страницы вашего письма уже не в отношении ко мне, а в отношении ко взятому юноше, но нашел, что они и ему не придутся; они, кроме того, что невпопад, они лишены силы сердечного убеждения, в них отсутствие того, что может тронуть душу. Они как будто писаны на воздух, а не направлены собственно к какому-нибудь лицу, которого личность и природу вы видели перед своими глазами, когда писали. Друг мой, если вы будете таким образом убеждать кого-либо, то я не удивлюсь, что слова ваши не будут иметь действия и доброе стремление ваше не достигнет цели. Ради бога, перед тем как будете писать к кому-либо с тем, чтобы подействовать на него и убедить, представьте себе мысленно его всего, его поступки во всех других родах, сообразите все, не уничтожают ли уже в нем находящиеся другие свойства того, что вы в нем предполагаете. А сообразивши все, помолитесь богу, чтобы он <дал> вам слово убеждающее. Взгляните также на самих себя. Имейте для этого на столе духовное зеркало, то есть какую-нибудь книгу <...>» [6, т. 12, с. 442–443; выделено автором. — Е.П.]

Кроме того, в предыстории этого «совета» в рамках переписки со Смирновой 1844 г. — неоднократные обращения Гоголя к ней с тем же, по сути, увещанием и тоже в ответ на ее обращения к нему «невпопад» — только по другим поводам. Например, 14 апреля н. ст. она написала Гоголю о сложном и пугающем окружающих душевном состоянии графа В.А. Перовского, о том, что уныние, в которое он впал, раскаиваясь в прежних грехах и читая и перечитывая Евангелие, но не имея рядом духовного наставника, может привести к суициду, а ее собственные усилия не принесли результата и т.д. [9, с. 601–602]. Следом Смирнова, нуждавшаяся в свое время в подобной поддержке и получившая ее от Гоголя, обратилась к нему с просьбой помочь Перовскому советом и тем спасти его. Примечательны при этом ее разъяснения, превращающие просьбу в требование, к тому же — в форме поручения с подробной инструкцией: «Спасите его. Вам надо сейчас, не медля, помолясь Богу, ему писать. Вы не должны и намекнуть на меня. Начинайте с того, что вы узнали, что Алеше⁹ лучше, и что его гувернер им хвалится в письме к Овербек, и присокупите, что в воспитании его не надобно упускать религию, именно нашу, из виду; отсюда польется тьма выводов, которые могут на него действовать. Укажите ему на Павского;

⁹ Заболевшему незаконнорожденному, но горячо любимому сыну Перовского.

в таком состоянии души слова много значат. Теперь вспомните и мое слово: когда сбудется, я вам свою мысль открою. Поспешите письмом вашим; он худеет очень, это меня очень пугает. Как люди слепы, когда говорят, что чудес нет! Жуковскому ни слова об этом, и нежный поклон им обоим» [9, с. 602].

Гоголь ответил (20 апреля н. ст.) объяснением, почему он не является и *не может быть универсальным советчиком и наставником*: «Вы требуете от меня того, что один только святой или, справедливее, сам Бог только может исполнить. Именно вы требуете, чтобы я, не заглянувши прежде моими собственными глазами в душу другого, отвечал бы на все вопросы его души. Вы хотите, чтобы я написал Перовскому письмо, послужившее бы ответом прямо на его душевную тревогу. Я, точно, могу сказать многое полезное душе, но только тогда, когда душа эта будет предо мною открыта вся, до последних и малейших ее изгибов; а без того я, просто, глуп и как в лесу. Иногда сокрытие одного, по-видимому ничтожного, обстоятельства может ввести в заблуждение и все дело может показать в другом виде» [6, т. 12, с. 293]. А после этого объяснил, почему он считает возможным давать советы ей лично: «Вы вспомните, что для этого нужен был почти год приуготовительного занятия, что мы прочли весьма многое, что заставляет обнаруживаться душу; вспомните, что мы еще очень, очень недавно отыскиали язык, на котором можем сколько-нибудь понимать друг друга; вспомните также, что мне нужно было много терпенья, чтобы достигнуть даже того, чтобы стать именно в этих отношениях, в каких мы находимся с вами, потому что вы на всяком шагу противопоставляли мне беспрерывные препятствия к тому» [6, т. 12, с. 293].

Эти две выдержки имеют, на наш взгляд, непосредственное отношение к вопросу о жанровом генезисе «Выбранных мест...». Из них мы извлекаем своего рода перечень принципиальных для Гоголя условий, которые побуждают дать совет ближнему или, напротив, делают такую форму сочувствия ближнему неуместной и даже вредной. И заметим: осторожность и избирательность, какую он проявил в провокационных, надо сказать, обстоятельствах, а также его сознательные установки в отношении роли советчика и наставника в душевных затруднениях — явно противоречат устойчивому представлению о возросшей в нем и распространяющейся на всех и вся потребности советовать и поучать. Особо следует выделить при этом важность для него полноты знания о человеке, к кому предстоит обратиться, и обо всех

сопутствующих обстоятельствах и необходимость *взаимопонятно* языка общения, на выработку которого, в его представлении, требуются — общая к тому готовность, общие усилия и длительное время.

Такова, подчеркнем еще раз, была его установка в эпистолярном общении в целом и в отношении советов в частности¹⁰ весной 1844 г. И в конце декабря того года (в ответе на назидания Смирновой) — он подтвердил важность этих условий, подчеркнув еще раз, что даже и в установившемся эпистолярном диалоге определенная продуманность формулировок сохраняет свое значение: «Мы люди свои, мы не должны взвешивать слов своих, когда говорим друг другу; но все-таки *портрет* друг друга мы должны иметь пред глазами, когда мы пишем друг к другу. Иначе слово будет холодно и не всегда впопад» [6, т. 12, с. 443].

По сути, Гоголь настаивал на том, что между письменным и устным приватным высказыванием есть существенная разница и письменная речь лишена того дополнительного ресурса убедительности и/или внятности, который обеспечивается в устной речи эмоционально-душевым сопровождением, с одной стороны (напомним его совет К. Аксакову), и быстрым и уместным реагированием и преодолением тех или иных помех в понимании, с другой. То есть в отношении общего языка и формы высказывания в приватном диалоге, как и в сфере публичного обращения к читателю, важна была для него, кроме прочего, и эта дифференциация.

Подведем некоторые предварительные итоги. Во-первых, способ обеспечить слову (высказыванию) ясность, живость и убедительность, легший, по наблюдению Манна, в основу жанровой формы «Выбранных мест...», относится к двум сферам писательской практики Гоголя и двум уровням (или сторонам) будущей жанровой целостности книги — литературному (публичному) и эпистолярному (частному). Во-вторых, этот способ был эксплицирован Гоголем в обоих случаях из собственного опыта общения — с читателями (в том числе критиками) его произведений и с читателями его писем (в определенной части это были одни и те же лица), и в обоих случаях к концу 1844 г. это был его опыт общения с совершенно конкретными читателями и одновременно опыт выстраивания *диалога*.

Подчеркнем еще раз, что соответствующие усилия Гоголя-писателя, автора поэмы, в подробностях

¹⁰ Письмо Перовскому он все-таки написал, и его основной совет в нем — необходимость довериться священнику.

разобраны Юрием Владимировичем в его книге. В числе прочего это относится к характеру его, Гоголя, восприимчивости к критическим замечаниям¹¹. А в приватной сфере к рождению в конце 1844 г. формулы успешного эпистолярного диалога имеет отношение также опыт письменного общения, точнее — двустороннего эпистолярного выяснения отношений, Гоголя со старшим Аксаковым и с Плетневым.

Известно ревнивое отношение московских и петербургских друзей к Гоголю, но мы о другом — о недоразумениях с личной адресацией и о разного рода препятствиях к взаимопониманию, опыт преодоления которых сыграл свою роль в формировании советов К. Аксакову и Смирновой и тем самым — в выборе «способа» организации будущего литературного высказывания как выборки «из переписки с друзьями».

В самом начале года (2 февраля н. ст.) Гоголь допустил оплошность (как после выяснилось) именно в плане адресации обращения, написав одно письмо (поздравление с Новым годом) трем московским друзьям — С.Т. Аксакову, Погодину и Шевыреву и в этом письме дав один на всех совет — внимательно и неторопливо, в порционном ежедневном режиме прочитать «Подражание Христу» Фомы Кемпийского, извлекая непосредственно относящиеся к актуальным жизненным тревогам подсказки, так сказать, т.е. сопроводить чтение душевной и духовной работой. При этом к Шевыреву сразу, а к Погодину и Аксакову несколькими днями позднее Гоголь написал и личные письма, включающие в разной степени подробный разговор о том же совете. Известно, что Шевырев и Погодин восприняли совет спокойно, а Сергей Тимофеевич — в штыки. Сказалась разница в характерах адресатов, но главное — в сопутствующих обстоятельствах.

Дело в том, что гоголевский совет для Шевырева был ответом на его запрос — и внутренний психологический, и в определенном смысле эпистолярный, о чем можно судить по началу письма к нему Гоголя от 10 февраля¹². В отношениях

с Погодиным к этому времени только-только миновал свою острую фазу кризис (в сентябре 1843 г. Погодиным была восстановлена доброжелательная переписка), и оба прилагали усилия к восстановлению дружбы. А в отношении Аксакова совет был «невпопад». Предыстория этого «недоразумения» тесно связана с двумя другими адресатами, а именно — с коллективными (в том числе — объединенными) эпистолярными усилиями осени 1843 г. по восстановлению дружеских взаимоотношений Погодина и Гоголя, с посредничеством Аксакова и Шевырева и их общей заботой о возвращении и поддержании душевного равновесия Погодина. Письма Погодина и Гоголя, адресованные друг к другу, были посланы через Аксакова, гоголевский ответ (ок. 2 ноября 1843 г. [6, т. 12, с. 226–232]) последним обсуждался с Шевыревым, был признан неуместным своей жесткостью и Погодину не передан, а Аксаков написал об этом общем с Шевыревым решении Гоголю в ноябре-декабре (см. подробно: [11, с. 149–155]). Там же он, помимо прочего, обозначил разницу своих убеждений с гоголевскими в понимании «истинной» и «искренней» дружбы. Коротко говоря, Гоголь видел основу верной дружбы в христианской любви, считая, что в споре друзей оба в чем-то правы, а в чем-то виноваты, а Аксаков — в человеческих качествах, полном доверии и сходстве убеждений («Можно найти причину его действий, извинить, оправдать их; можно уважать, даже любить этого человека; но дружба требует непременно одинаковости верований в некоторые предметы, одинаковости мнений о человеческом достоинстве» [5, с. 127]) и отказывался видеть эту основу дружбы с Погодиным и для себя, и для Гоголя, попутно упрекнув Гоголя в скрытности.

Именно это тревожное недовольство Аксакова им, его письмом к Погодину и самим Погодиным и побудило Гоголя присоединить, так сказать, Сергея Тимофеевича к двум другим московским корреспондентам в общем совете сосредоточиться на себе и успокоиться душеполезным чтением.

Раздражение и даже обиду Аксакова (письмо от 17 апреля ст. ст.) на обращенный ко всем сразу совет Манн и другие биографы трактуют как результат недоразумения — обманутого ожидания Аксакова, по случайности получившего

в борьбе с собой многие годы жизни и лишениями добившийся до этого права. В награду за настойчивость я узнал следующую истину: *уходить в себя мы можем среди всех препятствий и волнений*. Истину я узнал, но пребывать в ней неотлучно самому не нашел средств» (и далее о том средстве, которое всем троицам поможет в преодолении «душевных беспокоевств и тревог») [6, т. 12, с. 250; выделено автором. — Е.П.].

¹¹ Ср., например, обобщение о «мотивах недовольства автора своим творением»: «Гоголь принимает, усваивает и разбивает ту же критику (С.Т. Аксакова или Белинского. — Е.П.) со своих позиций, не отступаясь от основного задания поэмы, но только совершенствуя и уточняя. Позитивное содержание недостаточно приближено к читателю — таков вывод Гоголя» [3, с. 221; выделено автором. — Е.П.].

¹² «Благодарю тебя за письмо, за отчеты, а более всего за вести о твоём состоянии душевном. <...> Ты говоришь только, что не знаешь, как уйти в себя и какими силами принудить и заставить себя. Сказать на это я могу только то, что это очень трудно. Я имею право сказать это, как человек, прошедший

раньше общего лично к нему адресованное письмо (от 14 февраля) и решившего, что подарком явится поэма [3, с. 218–219]. Но в обсуждаемом нами контексте проступает иная подоплека. Отказ Аксакова принять такой совет и его обида в большой степени были вызваны безличной, безотносительной к его личному душевному опыту и убеждениям (в том числе – в вопросах истинной дружбы) и уравнивающей всех формой совета: «Терпеть не могу нравственных рецептов; ничего похожего на веру в талисманы...» (а гоголевский совет для всех, действительно, по формулировке скорее напоминает рецептуру); «И вдруг вы меня сажаете, как мальчика, за чтение Фомы Кемпийского, *насилно, не зная моих убеждений*, да как еще? в узаконенное время» и т.д. [5, с. 131, 132; курсив наш. — Е.П.]. Гоголь писал в начале Великого поста и пожелал своим адресатам «спокойствия душевного», и Аксаков с исповедальной откровенностью поведал ему об уже ранее достигнутом «спокойствии», пусть и иллюзорном, но достаточном для душевного равновесия, так что испытываемый им теперь за это стыд ничего не может изменить («Итак, уже поздно. Оставим это дело навсегда» [5, с. 132]). Примечательно, что в целом отношение Аксакова к полученному от Гоголя совету можно выразить именно теми словами, в каких Гоголь в конце того года объяснялся со Смирновой: «Ради бога, перед тем как будете писать кому-либо с тем, чтобы подействовать и убедить, представьте себе мысленно его всего, его поступки во всех других родах» и т.д. [6, т. 12, 443]. Гоголь, надо сказать, получив это раздраженное, но искреннее (без снисхождения к себе) письмо, попытался исправить ситуацию письмами от 16 мая, потом от 12 ноября н. ст., после чего получил наконец ответ (от 16 ноября ст. ст.)¹³. А следующим письмом Гоголя к Аксакову стало именно то, где прозвучал совет Константину Сергеевичу, с которого начался наш разговор.

Эта личная оплошность Гоголя со старшим Аксаковым не была единственной причиной трещины в их эпистолярном общении, и позднее не принявшем диалогового в строгом смысле характера. Но отрицательный опыт пришедшихся

¹³ В ответном письме Аксакова, кстати, в числе прочего есть высказывания, предваряющие декабрьское утверждение Гоголя (в письме к Смирновой) о специфических задачах эпистолярного диалога: «На бумаге не то, что на словах: многого не скажешь, да и сказать нельзя»; «Вы, конечно, не подумаете, что ваше письмо было причиной моего долговременного молчания. Совсем нет: конечно, я не отвечал на него немедленно по неудобству переписки такого рода» [5, с. 136].

«невпопад» благих намерений, безусловно, был Гоголем утчен.

Выработанную к декабрю 1844 г. «формулу» успешного диалога (в публичной и частной сферах словесного высказывания) предваряет еще одно эпистолярное выяснение по поводу уместности советов и наставлений, а также условий истинной дружбы в ее эпистолярных формах. В этом случае упрек получил Плетнев от Гоголя, и особо важно для нашей темы то, что речь шла и о писательской деятельности.

Выяснение началось с гоголевского письма Плетневу от 24 октября н. ст. о «целых облаках недоразумений» из-за недоговоренностей и околичностей, как и в истории с московскими друзьями. По сути, Гоголь столкнулся с тем, что сам он как адресат своим корреспондентам (как московским, так и петербургским) непонятен, что его «портрет» в их представлении не соответствует реальности, что этот фантом сформирован отчасти толками и пересудами (включая слухи о «подлости и двуличности» [6, т. 12, с. 355]), отчасти догадками и предположениями, а в какой-то части – внутренними запросами (от пожеланий до требований; см. его рассуждения об этом: [6, т. 12, с. 432–433]). «На все мои запросы я получал одни только намеки, всякий точно боится слово сказать, у всех недосказанности, какие-то странные смягчения и наконец такого рода противоположности и противуречия, что я чуть не потерял совершенно голову» [6, т. 12, с. 354], – написал он Плетневу по поводу косвенных признаков недовольства последнего и призвал его к откровенности в переписке как к основе их будущего диалога: «Почему знать, может быть с этого письма начнутся между нами сношения откровеннее прежних, мы более оценим друг друга и узнаем истинно, что на здешней земле должен сделать друг для друга» [6, т. 12, с. 355].

Ответ Плетнева (от 27 октября с. ст.) был жестким, он известен своей нелюбезной оценкой человеческих качеств Гоголя¹⁴, и Я.К. Грот, публикуя письмо, даже назвал его «ответедью» [13, с. 34]. Но «портрету» Гоголя – человека и писателя – с перечнем его недостатков отведена только часть письма, которая предварена, кстати, описанием собственной роли Плетнева в литературном процессе. И выражение обиды редактора «Современника», как традиционно толкуется это плетневское письмо, – тоже лишь сегмент

¹⁴ По выражению Плетнева из письма Я.К. Гроту, он «со всею искренностью высказал ему, как он недостоин ни уважения, ни дружбы по характеру его и по пренебрежению первых авторских обязанностей» [12, с. 342].

целого. Меняются по ходу письма и определения своей позиции говорящего Гоголю «правду» (как друг, как не друг именно, а вообще человек и христианин, как отказавшийся от звания друга, но не от готовности помочь человек), но соответствующие ремарки лишь индексируют смену ракурса и предмета разговора. А все письмо целиком по стилю, с точки зрения речевых жанров, является наставлением и даже назиданием, а по структуре высказывания и целевой направленности — напутствием представителя старшего литературного поколения («Дельвига, Гнедича, Пушкина, Жуковского и Крылова»), призывающего Гоголя — «гения-самоучку» в сравнении с Крыловым, Жуковским и Пушкиным — к усилиям встать с ними вровень [13, с. 36].

По сути, Плетнев переключил внимание Гоголя с психологических проблем (множащихся недоразумений в человеческих взаимоотношениях) и житейских («прозаических», по формулировке Гоголя) забот (на то и другое пожаловался ему Гоголь) на сферу его, Гоголя, писательского предназначения, соответственно трактуя и свою роль друга. Обвинил Гоголя в остановке в развитии недюжего природного дара (за «пренебрежение первых авторских обязанностей: изучения тонкости языка в употреблении и расширения в себе идей об искусстве» [12, с. 342]) и в безответственном отношении к писательскому поприщу, Плетнев наметил для него программу роста: «Я не предлагаю тебе никакой перемены в жизни, занятиях и отношениях твоих. Я только желал бы, чтобы ты возвысился до настоящего нравственного чувства, проливающего в сердце свет на обязанности наши к Богу, к людям, отечеству и даже к нашему здесь призванию и принятым уже убеждениям. Ясное созерцание этих предметов само преобразовало бы жизнь твою, теперь только поэтическую, но неполную и несовершенную нашему веку. Ты, не прерывая главных своих, обдуманых уже творений, должен строже определить себе, как надлежит тебе содействовать развитию в человечестве высшего религиозного и морального настроения, распространению в отечестве вечных начал науки и искусства, как довершить в себе недостатки литературные и как поражать все, несогласное с принятыми тобой правилами. Мы живем не при Шекспире, а после Гёте и Шиллера, которые, творя как художники, в то же время боролись с врагами истинных идей и неизменного вкуса. Зачем тебе, пользующемуся репутациею, не вести других по хорошей дороге, указывая на заблуждения судей-самозванцев и торгашей литературных? <...> Не презирай даже того, что в России мелко и жалко. Как Русский,

ты должен на это смотреть глазами врача. Но главное: ты приучись мыслить, излагать и отстаивать идеи, защищать убеждения сердца и укрощать буйное невежество» [13, с. 37].

Глядя на это назидание-напутствие Плетнева ретроспективно — со стороны авторской телеологии и жанровой целостности «Выбранных мест...», можно утверждать, что в нем заложен, по сути, проект авторской стратегии будущей гоголевской книги.

Особое значение этого письма Плетнева в генезисе «Выбранных мест...» отметили уже комментаторы советского академического издания, педалировавшие, разумеется, особую роль в формировании «реакционно-мистических настроений» и «ложного представления о своей писательской миссии» [6, т. 12, с. 660]. Очевидно между тем, что следовать подобным плетневским рекомендациям без объективной внутренней готовности невозможно, и из гоголевской биографии известно, что его духовные поиски и художнические устремления 1840-х годов уже были ориентированы — на «обязанности наши к Богу, к людям, отечеству и даже к нашему здесь призванию и принятым уже убеждениям», как направлял его Плетнев (см. выше). Другое дело, что известные нам соответствующие подробности гоголевской биографии были эксплицированы усилиями И.П. Золотусского, Манна, В.А. Воропаева и др. с опорой на эпистолярное наследие Гоголя, а Плетнев судил по отдельным высказываниям, адресованным ему и/или Смирновой, отчего и упрекал Гоголя в скрытности и недоверчивости¹⁵. Но существенное, на наш взгляд, воздействие плетневское наставление оказало на Гоголя своей уверенностью в необходимом единстве разных ипостасей и в том, что точкой сборки (условно говоря) является художественное творчество: «Это борение (с “врагами истинных идей и неизменного вкуса”. — *Е.П.*) укажет тебе на изыскание способов, как и в себе дополнить недостающее и в других поразить ложное. Из гения-самоучки ты возвысишься, как Гёте, до гения-художника и гения-просветителя» [13, с. 37]. И опять же — оказалось не сообщением того, что Гоголем и без того ощущалось и осознавалось, а уверенным подтверждением, что в этом правда его жизни.

¹⁵ Собственно говоря, в таком же положении фрагментарно осведомленных и этим неудовлетворенных находились в тот период и все друзья-корреспонденты Гоголя за немногим исключением (Смирнова и Языков, например, были сосредоточены на объединяющей их с гоголевскими размышлениями и рассуждениями теме и не испытывали ощущения нехватки понимания).

Ответное письмо Гоголя им самим не датировано, в гоголеведении принята предположительная датировка — не ранее 1 декабря и не позднее 14 декабря, вычисленная В.И. Шенроком [14, с. 519–520, примеч. 4]. Нам важно, что временной промежуток между письмом Плетнева и ответом Гоголя не указывает на сколь-нибудь протяженное обдумывание, что подтверждается и автографом письма. Оно длинное (шесть страниц некрупным почерком) и со множеством поправок, а отдельные синтаксические конструкции не вполне сформированы, то есть писалось оно спонтанно, правилось на ходу и не перечитывалось.

Плетнев в определенном смысле застал Гоголя врасплох. И ответное письмо вольно (в утверждениях) и невольно (неустойчивостью реакции на назидательную часть) зафиксировало промежуточное положение автоконцепции, незавершенность внутренних процессов самопознания и самостроения (о чем много говорится в письме) в плане согласования личного (человеческого), социального (писательского) и художественного (авторского). Сказались также и сознательный отказ от преждевременного выстраивания своего эпистолярного образа, и очевидная сложность задачи выговорить многое о себе корреспонденту, который и знает мало, и доверяет мало¹⁶. Часть упреков Гоголь принял, часть — нет, обозначенную Плетневым цель саморазвития признал истинной и уже для него очевидной («Я слишком хорошо знаю, что я должен это выполнить. <...> Цель, о которой говоришь ты, стоит неизменно передо мною» [6, т. 12, с. 384]), а вот предложенный способ («инструкцию») отвел — как по незнанию отвлеченный: «Ты был довольно проникателен, сказавши, что главная вина моих недостатков мое невежество и невоспитание. Ты это почувствовал, но ты был только несправедлив, указывая мне пути, как избавиться от этого — дело, которое требует слишком большого изучения природы того человека, которому дается инструкция» [6, т. 12, с. 383–384].

По поводу незнания или неполного знания Плетнева у Гоголя еще прежде процитированного заявления возникла чрезвычайно любопытная — «свободная» на тот момент — ассоциация: «...как судить о скрытном человеке, в котором все внутри, которого характер даже не образовался, но который в душе своей еще воспитывается

и которого всякое движение производит только одно недоразумение? Как заключить о таком человеке, основываясь по каким-нибудь ненароком из него высунувшимся свойствам? Не будет ли это значить то же самое, что заключить о книге по нескольким выдернутым из нее фразам, и не по порядку, а из разных мест ее? Конечно, и отдельно взятые фразы могут подать некоторую идею о книге, но разве из них узнаешь, что такое сама книга? Бог знает, иногда в книге они имеют другой смысл, иногда даже противоположный прежнему» [6, т. 12, с. 381–382].

Эта вариация барочной метафоры, уподобляющая целостность и многосложность человеческой личности литературному произведению в жанре книги, самопроизвольно возникла у Гоголя из усилий емко и доходчиво выразить в словах осложненную множеством подробностей свою жизненную и творческую ситуацию. А тяготение к подобному рода сложной организации и целостности проявилось в творческой биографии Гоголя и в циклизации (в разных родах и жанрах), и в особой архитектонике выпущенного в 1842 г. Собрания сочинений (только художественных, заметим), и, наконец, в задуманном продолжении поэмы. И в определенном смысле мы можем считать это уподобление себя книге (причем в рамках целого письма — еще не завершенной книге) — сигналом начала процесса эстетической самообъективации, который выльется в согласованность и взаимосвязь всех ипостасей в образе автора «Выбранных мест...».

Подчеркнем, что мы не видим в этой биографической точке признаков замысла «Переписки с друзьями». И Плетнев в сформулированной программе не подразумевал, разумеется, того, что открывается сейчас ретроспективному взгляду, и Гоголь не замысливал еще предъявить миру свой автопортрет в кругу друзей. Однако знаменательно случившееся перемещение центра тяжести в гоголевском эстетическом тяготении к формированию универсума в художественных высказываниях [15] — с самого высказывания на его автора, чья картина мира и представление о правде жизни объемнее не только того, что выражено одной повестью, эссе, статьей, пьесой или одной частью поэмы, но и того, что предстает в цикле, четырехтомном издании, то есть — на творческую и творящую личность в целом¹⁷. Так что можно

¹⁶ Ср.: «...не стыдно ли тебе сказать мне, что я променял тебя на другого. Скажу тебе на это одну чистую правду, хотя и знаю, что ее не примешь ты за правду, словам моим не верят, как же мне отважиться быть откровенным, если бы я даже был и в силах быть откровенным» [6, т. 12, с. 382].

¹⁷ Соответствующее ощущение несовпадения обогащенного внутреннего душевного и духовного опыта с выраженным прежними сочинениями было осознано Гоголем до получения письма Плетнева, и в ноябре 1844 г., в частности, он писал об этом Смирновой (по поводу Ю.Ф. Самарина,

говорить о некоем предчувствии будущего высказывания в жанре, полноценно отражающем многогранный взгляд автора на мир и обеспечивающем каждой «букве», «слову», «фразе» в этом высказывании свою позицию в архитектонике целого и тем самым — адекватный авторскому представлению о мире в целом смысловой объем. И, заметим, в этом предощущении Гоголя заложено примечательное свойство жанра книги (в его понимании): не авторской только волей определяется итоговый смысл каждого отдельного компонента целостности.

Примечательно, что именно в этом своем ответе Плетневу Гоголь, перейдя от самохарактеристики и признаний к «прозаическим» делам и заботам, и высказал ту идею об учреждении фонда для талантливых нуждающихся студентов, которую потом обсуждал со Смирновой в письме к ней от 28 декабря н. ст. с советом о конкретной адресации высказывания как необходимым условием диалога.

Итак, в конце 1844 г. в сознании Гоголя публичная и приватная сферы письменной речи были разделены, и условие личной адресации высказывания того и другого типа предполагало разную функциональную нагрузку и разную целевую ориентацию (в одном случае стилевую — на достижение внятности и действенности письменной речи в публичном высказывании, в другом содержательную — на уместность и полезность советов в приватном общении), а возможное объединение двух сфер (а значит — и двух типов адресации) эпистолярной речи в творческой практике лишь предчувствовалось (что отразилось в его ответе Плетневу в начале декабря того же года).

* * *

Вернемся к «способу» организации эпистолярной формы «Выбранных мест...», вытекающему из опыта выстраивания Гоголем *диалога*.

Известно, что диалог Гоголя — писателя, критика, преподавателя и мыслителя — с читателем (другом, критиком) был очень важен для него, но практически всегда — затруднен¹⁸. Но и опыт его приватного эпистолярного общения

«который может судить обо мне только предположительно или же по моим сочинениям» [6, т. 12, с. 366]) и А.М. Вильгорской («Вы напрасно ищите в моих сочинениях меня и притом еще в прежних» [6, т. 12, с. 375]).

¹⁸ Ср. наблюдение И.П. Золотусского: «Все его сочинения, как и критики, станут диалогом с читателем, даже тяжбою, весьма похожей на ту, которую безнадежно затеяли два его героя в “Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем”» [16, с. 165].

в 1843–1844 гг. тоже, как следует из его переписки, был осложнен многими стихийно сформировавшимися условиями, затрудняющими диалог или даже прямо препятствующими ему. Из представленных выше эпизодов извлечем важные, в нашем представлении, для понимания истоков будущего замысла книги и дополняющие известное компоненты гоголевской переписки с упоминаемыми выше давними друзьями: его собственный опыт адресата писем — с советами, требованиями и назиданиями его друзей, его собственную речевую установку на *ответную* реплику и совместное с конкретным корреспондентом (индивидуализированное) движение к «правде» и/или к «истине» (т.е. сократовскую, можно сказать, способность слышать собеседника и отвечать ему, корректируя себя и свои высказывания), настойчивые попытки опираться на общий с адресатом понятийный язык и общую предметно-тематическую заинтересованность, а при этом — множась недоразумения («целые облака недоразумений», по выражению Гоголя) и необходимость объяснять свои мотивы, решения и разъяснять высказывания, т.е. необходимость автокомментирования. Нечто подобное, надо сказать, мы можем увидеть и в экспликации Манном диалога автора «Мертвых душ» с читателем в эти годы, а Гоголь, переписываясь с друзьями, не переставал быть писателем и соответственно воспринимать жизнь.

В этом свете комментарий Манна, конкретизирующий его собственное представление о «способе», не представляется нам верным: «Автор намерен поучать не всех вместе, но вести к желанному идеалу каждого в отдельности. Он педагог и наставник, знающий индивидуальные свойства своих подопечных» [3, с. 239]. Это суждение возвращает нас к традиционному взгляду на замысел книги Гоголя как на реализацию его проповеднических установок (с разной в гоголевском ведении трактовкой и оценкой — как потребность поделить опытом прозрения правды или как удовлетворение личных амбиций), и уточнение Манна, по сути, указывает на то, что в авторском замысле книга была ориентирована на жанр сборника индивидуально адресованных поучений (проповедей) или на жанр «учительных сборников» (С.А. Гончаров). Но представленные эпистолярные материалы этому противоречат, свидетельствуя о *диалогических* истоках и установках замысла, в то время как проповедь (церковная, гражданская или бытовая, с исповедальным компонентом или без) — монологична по определению, транслируя окончательное знание и нивелируя индивидуально-человеческие качества адресата («разную природу» души, «разную

степень ее развития» и «разные струны, ею двигающие», по выражению Гоголя в упоминаемом выше письме Смирновой от 20 апреля н. ст. 1844 г. [6, т. 12, с. 294])¹⁹. И по поводу усматриваемого Манном в авторском замысле намерения «поучать» и «вести» каждого «подопечного» возразим: реальные письма Гоголя, вошедшие в книгу, были репликами в непосредственном живом (наполненном шероховатостями и «недоразумениями») диалоге со своими корреспондентами и, по замыслу автора, отразившемуся в названии книги — «Выбранные места из переписки с друзьями», являются фрагментами его эпистолярного общения (о значении авторского названия в жанровой концепции см.: [17]) и вовсе не сводятся к советам, тем более к поучениям, а представляют еще и мысли, чувства, суждения Гоголя о мире и человеке, об отечестве и служении, о себе и о своем творчестве и проч., словом — наблюдения «пилигрима» (в определенном, принятом гоголеведением смысле) над собой и миром, над «нынешним порядком вещей в России», по его выражению.

И здесь возникает естественный и немаловажный, на наш взгляд, для понимания жанровой специфики в замысле и в реализации вопрос, пока не имеющий ответа. «Способ», легший в основу организации авторской речи в книге, сформировался в процессе эпистолярного общения Гоголя с друзьями, чей круг был существенно шире адресатов, «места из переписки» с которыми он в нее включил. Почему, к примеру, среди них нет А.С. Данилевского, или матери с сестрами, или Плетнева? или одного из Аксаковых? или Погодина? или Н.Н. Шереметьевой? Ведь с каждым из названных (с одними — в солидарном режиме, с другими — в полемическом) в числе прочего обсуждались темы, проблемы и вопросы, ставшие предметами гоголевских рассуждений и высказываний в тех или иных главах (см., например, экспликацию Е.И. Анненковой предшествующего эпистолярного материала главы «Русский помещик» в письмах к родным и к другу детства Данилевскому: [18, с. 31–33]). Любопытно и показательно, кстати, что С.Т. Аксаков, когда по Москве распространился опередивший издание «Выбранных мест...» слух о новой книге Гоголя, первым делом предположил: «Вероятно, там помещено много из его писем к А.О.

(т.е. к Смирновой. — *Е.П.*), к Языкову и ко мне» [5, с. 159; курсив наш. — *Е.П.*].

Ряд вопросов, вытекающих из представленных подробностей гоголевской переписки, относится к феноменологии перемещения им своих эпистолярных высказываний из жизни в литературу.

Е.И. Анненкова (единственный, насколько нам известно, исследователь, привлечший заинтересовавшие нас наблюдения Манна к размышлениям и рассуждениям о «Выбранных местах...») исследовала гоголевские механизмы «преобразования документального текста в структурообразующую форму текста литературного (в котором художественное начало не было основополагающим, но не исключалось)» [18, с. 21] (см. также: [19]). И по ее наблюдениям, личные письма Гоголя, легшие в основу ряда глав создаваемой книги, определили общий стиль и тон специально написанных для нее частей, в которых прослеживается «сохранение личной интонации», поддержание «впечатления текста становящегося, рождающегося чуть ли не на глазах у читателей» и «ощущения живого послания» [18, с. 22].

Но кроме этого, по нашему мнению, важно учитывать ту самую разность функционального плана реальной (эмпирической) речи и ее литературной, обработанной и/или стилизованной, формы. Заметим, в частности, что открытая индивидуальная адресность частного письма, соответствуя единичной и конкретной в предметно-тематическом и понятийном плане ситуации общения, логически противоречит как скрытой в процессе порождения речи адресации публичного обращения или высказывания (совет К. Аксакову), так и открытой форме «прикрепления» публичного письма к поименованному адресату в его социальной роли — писателя, редактора журнала и т.п. (традиционная в отечественном, в частности, литературном процессе жанровая модификация эпистолярная). Реальное письмо, бытуя за пределами литературы и являясь словесной, письменной формой общения, использует соответствующие конкретному случаю речевые жанры и соответствующие этим традиционным жанрам (первичным «жанрово-речевым клише», по М.М. Бахтину) функционально-стилевые особенности. В жизни функциональные стили речи довольно жестко разграничены между пятью типами социально-речевой, эпистолярной, в частности, практики, и официальные письма, например, не терпят фамильярности, личные (разговорные) письменные диалоги, напротив, не терпят

¹⁹ Сомнения и возражения традиционной трактовке возникновения замысла книги из потребности «поделиться назидательными советами с читающей публикой» [1, с. 466] уже высказывались гоголеведами, наблюдающими гоголевскую переписку 1840-х годов; ср., например: [2, с. 21–22].

формализации²⁰ или публицистичности²¹, а также «литературности», тоже выводящей личное и индивидуализированное общение на площадь, условно говоря²². При этом литературный стиль речи и соседствует с другими, и использует их без особых ограничений. Соответствующие навыки владения регуляторными механизмами человеческого общения укоренены в образовании и воспитании и шлифуются жизненным опытом, хотя это не всеми осознается. Однако Гоголь, как мы постарались показать, относился к проблеме уместности высказывания и его прагматике в целом — осознанно и в жизни, и в литературе. Между тем «всеядный», условно говоря, в жизни литературный стиль речи сам, в свою очередь, может быть инкорпорирован в литературное произведение как высказывание, в том числе — наряду со всеми другими. И так оно и есть в «Мертвых душах», например, где представлен весь спектр речевых практик персонажей, и так оно и есть в «Выбранных местах...», централизирующую роль в которых играет разнообразно ориентированная и охватывающая максимальный объем жизнедеятельности слова авторская речь.

Отсюда вопрос: каково структурное и прочее соотношение первичных речевых жанров и их литературно опосредованных модификаций в гоголевской книге? Напомним по этому поводу, что уже первые критически настроенные читатели (Н.Ф. Павлов и В.Г. Белинский, в частности) упрекали Гоголя за расплывчатость границ с фигуративной литературой в образах адресатов и автора. Между тем сама эпистолярная форма речи автора, перемещенная в литературу (уже в замысле и/или в его воплощении, или постфактум), к середине 1840-х годов была для читателя делом совершенно традиционным (см. об этом: [17, с. 94]).

К этому вопросу примыкает другой: как повлияло перемещение вместе с реальными письмами их конкретной жанрово-речевой структуры?

Не с такими ли процессами «преображения документа» диалогической направленности связана специфическая и глубокая оригинальность

²⁰ Ср. протест С.Т. Аксакова против «рецепта» Гоголя и гоголевский протест против «инструкции» Плетнева.

²¹ См. о подобном недоразумении в 1846 г. — со Смирновой по поводу адресованного ей, но уже пограничного эмпирической жизни и литературе, писавшегося уже для книги письма о заботах губернаторши: [18, с. 30].

²² В этом плане жанр дружеского письма начала XIX в. предполагал локализацию в дружеском сообществе с общим понятийным арсеналом и, как оказалось в 1840-е годы, в том числе в гоголевской практике, был способен к бытованию совсем не в любом сообществе, считающем себя дружеским.

«Выбранных мест...» как целого произведения? Ведь его компоненты (главы целиком, отдельные положения, конкретные суждения, мотивы) довольно легко проецируются на разнообразные традиционные жанровые формы (личное и открытое письмо, публицистическая статья, литературно-критическое эссе, исповедь, проповедь или поучение, духовное завещание, дружеское наставление, утопия и антиутопия, критика и антикритика и т.д.), перечисляя которые, кстати, мы (сейчас — сознательно) смешиваем первичные и вторичные, по бахтинской терминологии (т.е. из репертуара литературных жанров и жанровых форм).

Например, ставшая одним из камней преткновения для читателей-современников первая глава книги — «Завещание» — претензии вызвала именно своей формальной структурой официального документа (который между тем может интерпретироваться как отсроченное послание наследникам) и упразднением традиционных, но вовсе не узаконенных компонентов — ограниченного числа адресатов и времени обнародования. Вообще в гоголевской книге представлены и все функциональные стили речи, и соответствующие им разные жанровые формы и речевые стратегии (учительная, полемическая, исповедальная, аналитическая и проч.), и с этой точки зрения появление в книге официально-делового сегмента не должно нас удивлять. Другое дело, что включение его в состав книги — не простая инкрустация, а содержание, композиционная роль и место в архитектонике книги выводят значение этого «документа» и его оригинальной литературной авторизации далеко за пределы роли одной из «глав», пусть даже и первой. Так что мы совершенно солидарны с позицией О.Н. Бахтиной, еще в 1999 г. указавшей на значение жанровой традиции «духовного завещания» в творческой истории «Выбранных мест...» [20], но целостность книги и ее принципиальность для Гоголя промежуточный характер в процессе диалога «сочинителя» поэмы с читателем этим не определяется. В числе прочего потому, что этот вектор не доминирует среди других.

Здесь стоит посоветовать на то, что в научных описаниях и рассуждениях о тех или иных жанровых приметах гоголевской книги происходит смешение разнородных определений — терминов, паратерминов и фигуральных выражений, что во многом, на наш взгляд, еще больше запутывает дело. В числе прочего до сих пор (со времен восприятия книги первыми читателями и литературной критикой) в научных работах о книге

расплывчата граница между понятиями, применимыми к эмпирической и к литературной речевой практике.

В вопросе о том, как задумывалась книга и в какую архитектонику высказывания это вылилось, необходимо, на наш взгляд, учитывать тесную, хотя и неодинаковую связность адресации письма в жизни и в литературе с предметно-тематическим выбором (или отбором). Напомним, что обсуждаемые Гоголем проблемы имеют узнаваемую (хотя и разнообразную) предметно-тематическую локализацию: религия, духовные поиски, этика, государственное устройство, сословная иерархия, служба, хозяйственно-экономическая практика и частная жизнь с житейскими заботами, социально-общественные роли – женщины, писателя, поэта, а также литература, живопись, театр, творчество как таковое и т.д.

Для современного гоголеведения, надо сказать, характерно почти единодушное признание безусловной жанровой целостности книги, включая эстетический уровень жанрообразования, логически связываемый исследователями с единым образом автора, какую бы доминирующую концепцию жанра они ни выдвигали. Но этот единый образ автора «Выбранных мест...» представляет синкретическое множество разных эпостасей автора книги (художник, писатель, критик, гражданин, человек, христианин и проч.), что тоже признается исследователями, хотя часто – в форме оговаривания, не влияющего на общую концепцию. На наш взгляд, именно многогранность образа глубокой и разносторонней личности автора затрудняла и затрудняет в большой степени решение вопроса о жанре «Выбранных мест из переписки с друзьями».

Признавая эту книгу литературным явлением, мы вольно и невольно ищем аналогичные явления в предшествующей литературе и в жанровом отношении проецируем «Выбранные места...» на зафиксированные традицией или прецедентами литературные жанры (точнее – жанровые формы промежуточной литературы), подчеркивая новизну и оригинальность гоголевской модификации. Но не в том ли дело, что книга как целое не преобразовывала те или иные жанровые образцы, а стала результатом порождения такой формы выражения, которая была сообразна цели и наиболее подходила для выражения той самой «глубокой» мысли (точнее – клубка тесно переплетенных между собой глубоких мыслей), о какой Гоголь писал К. Аксакову? И могла ли быть эта цель проще (яснее) и/или однозначнее самой

личности автора – мыслящей, чувствующей, страдающей и творящей?

Такая постановка вопроса, разумеется, не снимает проблемы разных, в том числе литературных (включая духовную прозу), источников воплощения замысла, в котором именно и закладываются осознанно или подспудно жанровые ориентиры литературного высказывания не художественно-фигуративного вида. Но вопрос в том, с каким уровнем текстопорождения мы их соотносим. И если признать верным, что замысел зародился в процессе эмпирической эпистолярной практики (из успешного и неуспешного общения по поводу жизни, отношений, духовно-нравственных и прочих проблем, но также и по поводу восприятия собственного творчества, о чем и повествует книга Манна), то основательную долю задуманного целевого назначения книги следует отнести к заботе Гоголя о том, чтобы у его читателей сформировалось адекватное представление о нем как о человеке, писателе и авторе, а это, в свою очередь, мыслилось им (и история гоголеведения подтверждает в конечном итоге его правоту) как условие адекватного восприятия читателем всей смысловой полноты его художественного творения, т.е. поэмы прежде всего, и его произведений в целом.

В заключение обратим внимание на замечательное название книги Юрия Владимировича: метафорическое определение основной творческой интенции автора «Мертвых душ» («В поисках живой души»), снабженное поясняющим подзаголовком с акцентом на диалоге «сочинителя» с читателем, – применимо к творческим и жизненным устремлениям Гоголя-писателя в существенно более широких границах. Заглавие родилось, как мы думаем, из выражения гоголевского героя второго тома «Мертвых душ» Муразова, который, увещевая Чичикова, сказал: «Подумайте не о мертвых душах, а своей живой душе». А в соотнесении с известным предсмертным обращением Гоголя к современникам – «Будьте живые, а не мертвые души!» – заглавие книги Манна воспринимается не только как установка автора поэмы, но и как сопутствующая творческой биографии этих лет личная интенция Гоголя. И рождение замысла «Выбранных мест из переписки с друзьями» тоже связано с этим «поиском живой души».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Тихонравов Н.С.* Примечания редактора и варианты. «Выбранные места из переписки с друзьями» //

- Сочинения Н.В. Гоголя. 10-е изд. М.: Изд. книжного магазина В. Думнова, под фирмой «Наследники бр. Салаевых», 1889. Т. 4. С. 465–547.
2. *Барабаш Ю.Я.* Гоголь. Загадка «Прощальной повести» («Выбранные места из переписки с друзьями». Опыт непредвзятого прочтения). М.: Худ. лит., 1993. 269 с.
 3. *Манн Ю.В.* В поисках живой души: «Мертвые души». Писатель – критика – читатель. М.: Книга, 1984. 416 с.
 4. *Шенрок В.И.* Материалы для биографии Гоголя. М.: Тип. А.И. Мамонтова, 1897. Т. 4. VIII, 978 с.
 5. *Аксаков С.Т.* История моего знакомства с Гоголем. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 294 с.
 6. *Гоголь Н.В.* Полное собрание сочинений: в 14 т. <Б.м.>: Изд-во АН СССР, 1937–1952.
 7. *Анненкова Е.И.* Константин Аксаков. Веселье духа. СПб.: Росток, 2018. 328 с.
 8. *Гоголь Н.В.* Полное собрание сочинений и писем: в 23 т. Т. 7. Кн. 2. М.: Наука, 2012. 878 с.
 9. А.О. Смирнова и Н.В. Гоголь. Письма к Гоголю Смирновой. 1844–1851 гг. // Русская Старина. 1888. Т. 58. № 6. С. 597–610.
 10. *Манн Ю.В.* Гоголь. Книга вторая. На вершине: 1835–1845. М.: РГГУ, 2012. 552 с.
 11. *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина: в 22 т. М.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1894. Т. 8. 629 с.
 12. Переписка Я.К. Грота с П.А. Плетневым: в 3 т. СПб.: Тип. Министерства путей сообщения, 1896. Т. 2. 704 с.
 13. Письма Плетнева к Гоголю (1844–1851) // Русский Вестник. 1890. Т. 211. № 11. С. 34–68.
 14. Письма Н.В. Гоголя / Под ред. В.И. Шенрока: в 4 т. СПб.: Изд-во А.Ф. Маркса, 1901. Т. 2. 587 с.
 15. *Янушкевич А.С.* Философия и поэтика гоголевского Всемира // Феномен Гоголя: Материалы Юбилейной международной научной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя / Под ред. М.Н. Виролайнен и А.А. Карпова. СПб.: Петрополис, 2011. С. 33–49.
 16. *Золотусский И.П.* Очная ставка с памятью. М.: Современник, 1983. 288 с.
 17. *Падерина Е.Г.* «Не шумное по названию» произведение Гоголя: «Выбранные места из переписки с друзьями» // Вестник Костромского государственного университета. 2022. Т. 28. № 2. С. 93–98.
 18. *Анненкова Е.И.* От писем к «Выбранным местам...» // Н.В. Гоголь. Материалы и исследования. М.: ИМЛИ РАН, 2019. Вып. 4. С. 21–37.
 19. *Анненкова Е.И.* Письмо в структуре «Выбранных мест из переписки с друзьями» и эпистолярное наследие Гоголя // Н.В. Гоголь и его творческое наследие: Десятые Юбилейные Гоголевские чтения. М.: Фестпартнер, 2010. С. 45–52.
 20. *Бахтина О.Н.* Жанр духовного завещания в творчестве позднего Гоголя // Гоголь и время. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2005. Вып. 2. С. 12–23.

REFERENCES

1. Tikhonravov, N.S. *Primechaniia redaktora i varianty. "Vybrannye mesta iz perepiski s друзями"* [Editor's Notes and Options. Selected Places from Correspondence with Friends]. *Sochineniia N.V. Gogolia. 10-e izd. [Works by N.V. Gogol. 10th Edition]. Vol. 4.* Moscow: Bookstore by V. Dumnoy under the firm "Heirs of the Solovyov brothers" Publ., 1889, pp. 465–547. (In Russ.)
2. Barabash, Iu.Ia. *Gogol. Zagadka "Proshchalnoi povesti" ("Vybrannye mesta iz perepiski s друзями"). Opyt nepredvyatogo prochteniia* [Gogol. The Riddle of the "Farewell Tale" ("Selected Passages from Correspondence with Friends"). An Unbiased Reading Experience]. Moscow: Fiction Publ., 1993. 269 p. (In Russ.)
3. Mann, Iu.V. *V poiskakh zhivoi dushi: "Mertyvyie dushi". Pisatel – kritika – chitatel* [In Search of a Living Soul: Dead Souls. Writer – Criticism – Reader]. Moscow: Kniga Publ., 1984. 416 p. (In Russ.)
4. Shenrok, V.I. *Materialy dlia biografii Gogolia* [Materials for the Biography of Gogol]. Vol. 4. Moscow: A.I. Mamontov Publ., 1897, VIII. 978 p. (In Russ.)
5. Aksakov, S.T. *Istoriia moiego znakomstva s Gogolem* [The Story of my Acquaintance with Gogol]. Moscow: Izd-vo AN SSSR Publ., 1960. 294 p. (In Russ.)
6. Gogol, N.V. *Polnoie sobraniie sochinenii: v 14 t.* [Complete Collection of Works: in 14 Vols.] Izd-vo AN SSSR Publ., 1937–1952. (In Russ.)
7. Annenkova, E.I. *Konstantin Aksakov. Vesele dukha* [Konstantin Aksakov. Joy of the Spirit]. St. Petersburg: Rostok Publ., 2018. 328 p. (In Russ.)
8. Gogol, N.V. *Polnoie sobraniie sochinenii i pisem: v 23 t. T. 7. Kn. 2.* [Complete Collection of Works and Letters: in 14 Vols. Vol. 7. Part 2.] Moscow: Nauka Publ., 2012. 878 p. (In Russ.)
9. A.O. Smirnova i N.V. Gogol. *Pisma k Gogoliu Smirnovoi. 1844–1851 gg.* [A.O. Smirnova and N.V. Gogol. Gogol's Letters to Smirnova. 1844–1851]. *Russkaia Starina* [Russian Antiquity]. 1888, Vol. 58, No 6, pp. 597–610. (In Russ.)
10. Mann, Yu.V. *Gogol. Kniga vtoraiia. Na vershine: 1835–1845* [Gogol. Book two. On Top: 1835–1845]. Moscow: RSGU Publ., 2012. 552 p. (In Russ.)
11. Barsukov, N.P. *Zhizn i trudy M.P. Pogodina: v 22 t.* [Life and Works of M.P. Pogodin: in 22 Vols.]. Vol. 8. Moscow: M.M. Stasiulevich Publ., 1894. 629 p. (In Russ.)

12. *Perepiska Ia.K. Grota s P.A. Pletnevym: v 3 t.* [Ya.K. Grot's Correspondence with P.A. Pletnev] St. Petersburg: Printing house of the Ministry of Railways, 1896. Vol. 2. 704 p. (In Russ.)
13. *Pisma Pletneva k Gogoliu (1844–1851)* [Pletnev's Letters to Smirnova (1844–1851)]. *Russkii vestnik* [Russian Messenger]. 1890, Vol. 211, No 11, pp. 34–68. (In Russ.)
14. *Pisma N.V. Gogolia* [N.V. Gogol's Letters]. Ed. by V.I. Shenrok: in 4 Vols. St. Petersburg: Izd-vo A.F. Marksa Publ., 1901, Vol. 2. 587 p. (In Russ.)
15. Ianushkevich, A.S. *Filosofiya i poetika gogolevskogo Vsemira* [Philosophy and Poetics of Gogol's World]. *Fenomen Gogolia: Materialy Yubileynoi mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, posviashchennoi 200-letiiu so dnia rozhdeniia N.V. Gogolia* [The Gogol Phenomenon: Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference Dedicated to the 200th Anniversary of N.V. Gogol]. Ed. by M.N. Virolaynen, A.A. Karpov. St. Petersburg: Petropolis Publ., 2011, pp. 33–49. (In Russ.)
16. Zolotusskiy, I.P. *Ochnaia stavka s pamyatiu* [Face to Face with Memory]. Moscow: Sovremennik Publ., 1983. 288 p. (In Russ.)
17. Paderina, E.G. “*Ne shumnoie po nazvaniuu*” proizvedeniie Gogolia: “*Vybrannye mesta iz perepiski s družiami*” [“Not noisy by name” Gogol's work: “Selected passages from correspondence with friends”]. *Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta* [Bulletin of the Kostroma State University]. 2022, No 2, pp. 93–98. (In Russ.)
18. Annenkova, E.I. *Ot pisem k “Vybrannym mestam...”* [From Letters to “Selected Places...”]. *N.V. Gogol. Materialy i issledovaniia* [N.V. Gogol. Materials and Research]. Issue 4. Moscow: IWL RAS Publ., 2019, pp. 21–37. (In Russ.)
19. Annenkova, E.I. *Pismo v strukture “Vybrannykh mest iz perepiski s družiami” i epistoliarnoe nasledie Gogolia* [Letter in the Structure of “Selected Places from Correspondence with Friends” and Gogol's Epistolary Legacy]. *N.V. Gogol i ego tvorcheskoe nasledie. Desyatye Yubileynye Gogolevskie chteniia.* [N.V. Gogol and His Creative Heritage. Tenth Anniversary Gogol Readings]. Moscow: Festpartner Publ., 2010, pp. 45–52. (In Russ.)
20. Bakhtina, O.N. *Zhanr dukhovnogo zaveshchaniia v tvorchestve pozdnego Gogolia* [The Genre of Spiritual Testament in the Late Gogol's Works]. *Gogol i vremya* [Gogol and Time]. Issue 2. Tomsk: Tomsk University Publ., 2005, pp. 12–23. (In Russ.)

Дата поступления материала в редакцию: 29 июля 2023 г.

Статья поступила после рецензирования и доработки: 7 декабря 2023 г.

Статья принята к публикации: 15 февраля 2024 г.

Дата публикации: 30 апреля 2024 г.

Received by Editor on November 17, 2023

Revised on December 7, 2023

Accepted on February 15, 2024

Date of publication: April 30, 2024